

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ: ПОЛЕМИКА

Лев Гудков

Есть ли основания у теоретической социологии в России?¹

1

Основную часть повестки дня XVI симпозиума «Пути России» составили глубокомысленные вопросы: существует ли в России теоретическая социальная наука и каковы условия ее возможности, какова судьба «спора о методе» и каковы основные формы методологической рефлексии в современной исследовательской практике, каковы причины актуализации дискуссии о кризисе гуманитарного знания и происходит ли смена поколений в производстве социально-гуманитарного знания. Настойчивость, с которой в околоакадемических кругах² возобновляются разговоры об изменении «интеллектуального ландшафта России» или даже «самой инфраструктуры производства знания в современных социальных и гуманитарных дисциплинах», поневоле обращает на себя внимание постоянных участников симпозиума и заинтересованных внешних наблюдателей вне зависимости от того, согласны ли они с такой повесткой или нет³. Вопросы, поставленные в подобной форме (существует ли у нас некая символически значимая вещь, например, «теоретическая социология в России»), не подразумевают ответа «да – нет» (раз мы говорим о них, то мы ими «обладаем», оперируем в качестве символов). Но другое дело – теоретическая деятельность, она либо есть, либо ее нет, а разговоры о том, при каких условиях она «действительно возможна», напоминают давнюю пародию на античную апорию «о куче».

¹ В основе статьи – доклад на XVI симпозиуме «Пути России» («Пути России. Современное интеллектуальное пространство». Москва, Интерцентр–МВШСЭН, 23–24 января 2009 г.).

² Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М.: Наследие Евразии, 2006. Можно вспомнить также неудачные попытки М. Габовича в бытность его редактором журнала «Неприкосновенный запас» инициировать дискуссию, начатую В. Воронковым, о количественных и качественных методах и др.

³ Поэтому правильнее было бы несколько переформулировать название моего доклада: «Есть ли основания для дискуссии о теоретических проблемах в российских социальных и гуманитарных науках?».

Подобные вопросы задаются не для того, чтобы получить на них определенный ответ, не в этом социальный смысл такого «вопросания». В ситуации «диалектической мнимости», когда ценностные послышки действующих подменяют предикат существования объекта, важна сама манифестация говорящих, она и есть «ответ» на поставленный ими же вопрос. Выдвижение тематики такого рода оказывается эффективным средством провокации, привлечения к себе внимания профессионального сообщества. Риторичность и противоречивость постановки самих вопросов, задающих тон на этой конференции, свидетельствуют о желании организаторов конференции и тех, кого они репрезентируют, заявить о себе как о фигурах нового поколения в отечественной социологии, противопоставляющих себя как динозаврам советской социологической номенклатуры, так и доминирующей сегодня заказной или ползучей, описательной социологии, опирающейся преимущественно на массовые опросы или исследования общественного мнения с очень плоской интерпретацией полученных данных⁴. В какой степени такие вопросы являются аккумулятивным и концентрированным выражением диффузных настроений, существующих среди вполне сформировавшегося в последние годы корпуса преподавателей социальных наук, оттесненных на периферию общественного внимания и интереса, судить трудно, но в том, что сами подобные мнения и установки есть, сомневаться не приходится. Положение социологических начальников, по-прежнему сохраняющих руководящие позиции в научно-государственной иерархии (Г. Осипова, В. Иванова, В. Кузнецова, В. Добренькова и других), по большому счету мало кого интересует, поскольку их научная ничтожность не требует особых доказательств. Кадры вчерашних идеологических борцов с буржуазной социологией сегодня заняты защи-

⁴ Приходится реконструировать, так как формальных манифестов здесь не предусмотрено.

той национальных и религиозных ценностей и государственной (национальной) безопасностью. Протесты научной общественности против безобразий на соцфаке МГУ и его руководства, казалось бы, затронувшие общие вопросы о положении дел в социальных науках, как и во многих других случаях, не имели особого успеха и лишь показали, насколько низок уровень солидарности в самой научной среде, вяло реагирующей на всякого рода пакости и проявления социальной и человеческой деградации (коррупцию, плагиат, интеллектуальное воровство и организационное рейдерство). Что уж говорить об «имманентном» неприятии серости, господствующей эклектики и т. п., которого следовало бы ожидать в профессиональной среде, но признаков коего пока не обнаружено. Самым важным здесь, в конце концов, оказывается сознание нормативности фактического, ничем не отличающегося по своей природе от массового конформизма или цинизма, без которого не было бы поддержки или условий функционирования нынешнего авторитарного режима.

С другой стороны, видимая популярность массовых опросов в России, идентифицируемых общественностью и властями с «социологией» (ставшей, за редким исключением, к тому же частью политтехнологической работы или пропаганды действующего режима), не может не вызывать сопротивления у некоторых представителей академической или университетской фракции этой дисциплины, особенно у тех, кто как-то прикоснулся к миру сложных идей. Не раз высказывая недовольство сложившимся положением дел в социальных науках, они давали самые низкие оценки опросной социологии. Споры нет, сведение всей социологии к перечислению цифр, заменяющих понимание реальности, вещь довольно скучная, а иногда и противная. Уровень интерпретаций, обычный для массовых социологических исследований, мало кого может удовлетворить, кроме самих социологов — их авторов. Российская социология едва-едва поднимается над общим уровнем массовых предрассудков и коллективных банальностей. Нет ничего удивительного в том, что те, кто хотел бы заслужить авторитет, стремятся предложить публике свое более глубокое и тонкое понимание реальности, свои определения (конструкции) происходящего. Дело за малым — за самими интерпретациями.

Но тут, как мне кажется, есть одна маленькая загвоздка: ту среду, которую хотели бы репрезентировать организаторы конференции, отталкивает не столько характер общего потока иссле-

дований, сколько специфическая ценностная нагрузка, «ангажированность» исследований, которые велись и ведутся в некоторых научных организациях, например, в старом ВЦИОМе, сегодня это Левада-Центр. (Говорю это только потому, что я никогда не встречал каких-либо критических высказываний в адрес Института социологии, ИСПИ, ФОМ и множества других социологических организаций, ведущих подобные массовые опросы.) «Манифестанты», если они действительно представляют определенное явление в отечественных социальных науках, хотели бы заниматься чистой, «деидеологизированной», наукой, высокой теорией, свободной от любой политической или социальной предвзятости, как от советского прошлого, так и от условного «либерализма», который (опять-таки, как мне кажется, — вполне вероятно, что я ошибаюсь) они отождествляют с оппозицией нынешнему режиму. К такой ангажированности социологической деятельности они относятся явно негативно, как можно судить по ряду выступлений на конференции. Причем раздражение вызывает именно определенность ценностной позиции, за которой усматривается моральная определенность, принимающая форму интереса к большим социальным проблемам, включая и прошлое родного отечества, а значит, и чувство личной ответственности за свою работу как профессионала. Эта «инаковость» профессионального отношения воспринималась обычной советской и постсоветской научной средой как «человеческая дистанция» по отношению ко всем «прочим», как высокомерие, которое приписывалось некоторым людям старшего поколения, класса Левады. Но это именно то, что хотели бы забыть как постмодернисты, так и обслуживающий начальство народец. И тем, и другим от этого хотелось бы быть «теоретически чистыми».

Формально неприятие ценностных оснований такой научной деятельности принимает вид критической оценки устаревшего концептуального аппарата или методологических подходов. Отвергая их, постмодернисты претендуют на смену образцов исследовательской работы¹.

¹ Более четко это выразил В. Вахштайн на последнем симпозиуме. Впрочем, пытаюсь подкрепить такую позицию ссылками на принцип «свободы от ценностей» Макса Вебера (цитировалась, конечно, его лекция «Наука как профессия и призвание»), он совершил типовую ошибку, а именно: принцип «свободы от ценностей» он понимает самым плоским образом: как позицию «ценностной нейтральности» ученого, т. е. как воздержание от оценок, что якобы гарантирует объективность познания. Это распространенное, особенно благодаря американским учебникам, заблуждение. Ничего более расхожее с себеровским пониманием, чем такая схема, нет. Как и большинство

Поскольку те, кто выдвигают обозначенные претензии, уже не очень молодые преподаватели, понятна их озабоченность своим статусом в академической и университетской среде.

Дело не в конкретных людях. Я хотел бы, освободившись от чисто персонального рассмотрения этих манифестаций, посмотреть, в какой степени сам факт выхода на сцену российских подражателей западному постмодернизму и их претензии на новое слово в науке отражают состояние дел в отечественных социальных

нынешних социологов, знакомых с классическими идеями в пересказе, из третьих рук, В. Вахштайн не знает основных работ Вебера, в которых тот излагает свои представления о регулятивной и конститутивной роли ценностей в социальных науках. Я имею в виду, прежде всего, большие статьи «Объективность социально-научного и социально-политического познания» (1904) и «Смысл "свободы от ценностей" социологических и экономических наук» (1918), входившие в составленный после его смерти том методологических сочинений (*Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1968. S. 146–214, 489–540*). Вебер проводил различие между «оценками» или практическими оценочными суждениями (*Werturteilen, praktischen Bewertungen*) и теоретической процедурой «отнесения к ценности» (*Wertbeziehung*), значение которой он осознал благодаря работам Г. Риккерта. Последняя, по мысли Вебера, является важнейшей конститутивной процедурой в отборе материала, различении значимого и незначимого. Ценностные идеи не только указывают выделяемые содержательные обстоятельства, подлежащие анализу, но и задают направление поиска каузального или иного объяснения. Они суть выражение познавательного интереса ученого, без которого не происходит концептуального синтеза, основы образования теоретических понятий. «Трансцендентальной предпосылкой всякой науки о культуре является не то, что мы определенную, или вообще какую-либо "культуру" находим ценной, а то, что мы – культурные люди, одарены способностью и волей сознательно занимать позицию по отношению к миру и наделять его смыслом» (Там же, с. 180) «*Gesinnungslosigkeit und wissenschaftliche "Objektivität" haben keinerlei innere Verwandtschaft*» («Отсутствие убеждений» и научная "объективность" не имеют между собой ничего общего». С. 157). Кроме того, отмечу уже не для Вахштайна, а для читателя: «Наука как профессия» не является изложением методологических принципов понимающей социологии М. Вебера, это публичная лекция и ее смысл совершенно другой – помочь учащемуся осознать этический характер своего профессионального выбора. Чтобы не быть заподозренным в произвольности своей трактовки, расходящейся с обычными в академической среде стереотипами и предрассудками ученых профессоров, отошлю читателя к недавно вышедшей очень полной (более 1000 стр.!) интеллектуальной биографии М. Вебера «Страдания мышления», написанной Йоханном Радкау. «Бесконечно часто цитируемый доклад от 7 ноября 1917 года "Наука как призвание и как профессия" лишь в очень ограниченной мере воспроизводит характер его собственных занятий наукой. Сам он был полной противоположностью тому зашоренному специалисту, которого он там изобразил в качестве специалиста современного типа. Пользуясь лишь горсточкой цитат из названного сочинения, нельзя постичь своеобразие и характер его работы». – *Radkau J. Die Leidenschaft des Denkens. München: Carl Hanser Verlag, 2005. S. 181*. К занятиям чистой теорией (или в его языке – «методологией») Вебер относился резко отрицательно, называя их «методологической чумой» (там же). Подробнее о принципах веберовского «наукоучения» см.: *Гудков Л.Д. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М.: Русина, 1994. С. 69–135.*

науках. Мне это кажется более важным и необходимым, нежели разбираться в тонкостях словесных игр «качественной» (феноменологической, этнометодологической и т. п.) социологии – российских версий европейского или американского постмодернизма 1970–1990-х гг. Тем более, что это уже приходилось делать, но в другое время¹.

2

«Большие проблемы» предполагают специфический аппарат интерпретации – язык институциональных систем, длительных массовых процессов, социетальный уровень рассмотрения проблематики изменения и проч. Напротив, сторонники постмодернистской ревизии социологии предпочитают (точнее, декларируют) методические подходы микросоциологии – анализ практик, фреймов, этнометодологические приемы, «качественные методы», позволяющих избегать больших обобщений и теоретических абстракций, тем более, как им кажется, оценок или ценностных суждений, которые они иногда отождествляют – и не без оснований – с публицистикой.

Изменения состава оргкомитета конференции «Пути России» в последние годы неизбежно повлекли за собой и смену задач ежегодного симпозиума. После того как в 2002 г. руководство Интерцентра посчитало неудобным сделать фокусом дискуссии влияние второй чеченской войны на российское общество и изменение политического режима, конференция стала медленно переориентироваться с обсуждения содержательных проблем развития российского общества и трансформации его институтов на то, «как мы изучаем» это общество, а затем, и – на «картографию интеллектуального пространства» с тем, чтобы «облегчить навигацию в нем». Не знаю, в чем состоят трудности подобной «навигации», но само по себе это обстоятельство – сдвиг тематики – не требует какого-то дополнительного пояснения в условиях усиливающегося давления нынешнего режима на автономные центры общественной мысли и влияния. Обновление повестки работы конференции – от анализа болевых точек абортивной модернизации к невинности «чистой науки» – это многократно наблюдавшийся в разных сферах и странах процесс

¹ См.: *Гудков Л.Д.* Проблема повседневности и поиски альтернативной теории социологии // ФРГ глазами западногерманской социологии. М.: Наука, 1989. С. 296–329.

приспособления «свободно парящих интеллектуалов» применительно «к обстоятельствам». И аргументы для подобного научного оппортунизма искать далеко не надо, они всегда под рукой¹.

Сказать, чтобы в российских социальных науках были заметны хоть какие-то признаки интереса к теоретико-методологической проблематике социального познания, нельзя хотя бы уже потому, что до сих пор не было ни сколько-нибудь значительных обзорных работ, ни серьезных дискуссий, в которых бы анализировались *парадигмальные противоречия* интерпретации получаемых отечественными социологами данных. Есть заметные расхождения в политико-идеологических установках социологов, но не в технике или характере предметных объяснений, поскольку никаких собственных теоретических или методологических идей у сторонников государственнической науки не возникает и возникать не может². Мелкотемье же и ползучий эмпиризм «качественников» особых комментариев не требуют и споров не вызывают, несмотря на некоторые усилия, принимаемые к этому.

Для дискуссии о дифференциации теоретических школ и методологических подходов нужны в первую очередь сами эти школы и подходы, производящие оригинальные предметные и эмпирические знания, признаков которых пока не видно. Независимых и свободных исследований слишком мало. Поэтому пока все сводится к школярским по стилистике, но, по сути, эпигонским демонстрациям и играм в «спор о методе»³.

Никаких принципиальных открытий не видно как со стороны, условно говоря, «СОЦИСа», так и со стороны тех, кто давно выступает с постмодернистскими манифестациями, хотя

запоминающиеся работы, безусловно, есть. Отметим, впрочем, что предметная работа при этом заметно расходит с теоретическими декларациями⁴.

Разговоры о том, что надо бы что-то обсудить, время от времени имеют место (и нынешний симпозиум тому очевидное свидетельство), но обсуждения как-то не получается, по крайней мере на российском материале⁵.

Новые методы появляются, как известно, в форме «открытий», т. е. описаний ранее неизвестного материала или нового описания известного материала, рассмотренного с «неожиданной» стороны. Открытия предполагают смену ценностной перспективы рассмотрения материала, «новую» конституцию «предмета». Но для этого нужны «убеждения», «образ мыслей» (по-веберовски: *Gesinnung*), кристаллизацией которых и являются «ценности», а стало быть, и особая заинтересованность в реальности, что не может быть предметом обучения, институциональных конвенций. Сложность заключается в том, что **сами теории не являются нейтральными словарями и парадигмами**, их использование подчинено логике институционального поведения в науке, с одной стороны, и познавательного (ценностного) интереса — с другой. Соответственно, анализ теоретических средств вынужден принимать во внимание не только то, как согласуются в процессе иссле-

¹ Поэтому, несмотря на отдельные успехи конференции, например, на доклады культурологов в 2008 г., общий уровень представленных интеллектуальных разработок в 2008–2009 гг., на мой взгляд, заметно понизился.

² Ожидать, что на соцфаке у Добренкова или в ИСПИ и подобных им рутинных организациях могут завестись «идеи», не стоит, это абсолютно исключено. Сила таких социологических функционеров не в идеях, а в несокрушимой корпоративной солидарности научной или университетской и государственно-управленческой бюрократии, взаимной поддержке и защите чиновников от публичной критики и давления.

³ Первым симптомом потребности в прояснении парадигмальных коллизий был бы рост интереса к философии науки, к философии познания, важность которой для теоретической работы в социологии невозможно переоценить, поскольку только философия в состоянии поставить вопросы смысла и границ познания. Но в России нет (и по многим причинам не может быть) оригинальной философии, тем более — связанной с теорией социального знания или социологии.

⁴ Так, например, В. Волков, протагонист методологии «практик», в своей содержательной («эмпирической») работе декларируемые им модели использует в очень ограниченной мере, оперируя главным образом самыми обычными способами социологической интерпретации. (См.: Волков В. Силовое предпринимательство. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2002.) Концептуальная основа его интерпретации коррупционного сращения полиции и бизнеса задана некоторыми идеями Ч. Тилли, Д. Гамбетты и других западных социальных ученых, хотя их практическая разработка применительно к российскому материалу носит оригинальный и нетривиальный характер. В других работах он вообще не пользуется понятиями «практик», обходясь общепринятым набором понятий социально-экономического анализа. (См.: Волков В. Госкорпорации: очередной институциональный эксперимент // Pro et Contra. 2008. № 5–6. С. 75–88.)

⁵ За образец какого-то нового подхода всегда в таких случаях берутся примеры из зарубежных исследований или манифестации западных авторов (чаще даже американцев или британцев, где проходили стажировку или защищались наши «молодые»). Именно это и заставляет подозревать, что дело не в «парадигмах» и «новых теориях», а в том, что говорящие мотивированы какими-то иными идеальными побуждениями, например, борьбой за признание, конкуренцией за авторитет и влияние в академических кругах, а не озабоченностью решения каких-то предметных научных проблем. Разумеется, это не какая-нибудь вульгарная корысть, а борьба за чистую науку, свободную как от догматизма и номенклатурной скованности советской социологии, так и от политической или коммерческой зависимости исследователей постсоветского времени.

дования языки разных научных сфер, предметных регионов («практик»), но как при этом применяются специфические языки описания, чем они отличаются от языков объяснения (генерализованных концептуальных препаратов, чистых конструкций), как последние используются (применительно к эмпирическому материалу, т. е. специально уже препарированному, описанному в выделенной перспективе фактическому массиву данных социальных взаимодействий или социального поведения), а также каковы сами правила отбора различных языков — теорий, концепций и т. п.

Теоретических дискуссий в российской социологии нет, потому что нет теоретической работы в отечественной социологии (равно как и в других гуманитарных дисциплинах)¹. Более того, следует сказать, что такая работа скорее нежелательна для большинства занятых в этих сферах². То, что сегодня у нас идет под рубрикой

¹ Редкие исключения лишь подтверждают общие заключения. Для меня образцами теоретической работы в российской социологии являются работы Ю.А. Левады. Хотя его идеи (общая концепция репродуктивных систем, сложных структур социального действия в обществах догоняющей модернизации и т. п.) и не были систематически изложены, при желании и интересе со стороны социологов они могли бы дать мощный импульс концептуальным разработкам. Другой пример — оставшиеся совсем без внимания труды Д.Б. Зильбермана, его гигантская по охвату материала и сложности типология культур, основанная на своеобразии идей, традиций и институтов. Мою высокую оценку этих достижений, конечно, можно рассматривать как проявления «кружкового патриотизма», это нетрудно, однако сам факт, что научная среда вытеснила идеи этих авторов, получивших признание у самых рафинированных российских ученых, оспорить будет сложно.

² Я не собираюсь давать обзор различных направлений и школ в отечественной социологии и не столько потому, что это дело отдельной работы, а не выступления на конференции, сколько потому, что их реально нет. Есть по-разному работающие исследователи или даже отдельные группы ученых, есть центры, практикующие какой-то один набор методических приемов в описании ограниченного круга предметных вопросов. Но они не образуют воспроизводящихся направлений в науке и не тянут на статус оригинальной школы или хотя заимствованной парадигмы в науке. За последние 8–10 лет у ряда преподавателей в возрасте примерно 50 лет в Петербурге или Москве наметился свой круг последователей из числа бывших студентов, в манере работы которых проступает общность полученного ими образования (я имею в виду, например, В. Волкова, О. Хархордина или В. Воронкова в Питере, А. Филиппова в Москве), но говорить о существовании разных школ или парадигм пока не приходится, в первую очередь потому, что они не выходят на уровень воспроизводящихся практик исследовательской работы, что нет устойчивости получаемых эмпирических результатов или теоретических интерпретаций нового материала. Здесь (в исследованиях), как и в целом в российской социологии, господствует безнадежная эклектика и приземленность в понимании собранного или анализируемого материала. Недавний III-й ВСК лишь подтвердил подобное заключение. Мне могут сразу же возразить: как это не ведется теоретической работы, если соответствующие разделы в специализированных книжных магазинах заполнены соответствующей литературой. Даже в фойе нашей конференции продавался солидный том «Теория социологии». Но если посмотреть на то, что подается под этим

«теоретическая социология», является довольно произвольным по отбору материала пересказом чужих слов и идей, в адекватности которого часто стоит усомниться. Разумеется, среди многих статей на эти темы почти всегда можно найти и несколько работ серьезных авторов, как правило, давно занимающихся историей социологии или преподаванием иной гуманитарной дисциплины. Но в целом они редки, и не потому, что хороший анализ или интерпретация — вещи сами по себе редкие, а потому, что их появление не носит характер систематической работы, т. е. они не находятся в общем силовом поле коллективного поиска и разработок. Ни те, ни другие не делают погоду в отечественных социальных и гуманитарных науках. Это индивидуальные достижения отдельно работающих преподавателей и историков социологии. Подчеркиваю этот момент специально, поскольку здесь важно, что достигнутое наиболее удачно работающими авторами не воспроизводится, не аккумулируется в общих приемах исследовательской работы (будь то эмпирические разработки или история социальной мысли). Они остаются частными достижениями отдельных ученых или авторов, пишущих на общие темы, а это указывает на отсутствие или слабость в наших науках механизмов селекции достижений в практике конкретных разработок, неэффективность системы отбора и признания подобных достижений, а стало быть, незначимость внутриинституциональных принципов гратификации и оценки продуктивной работы, имманентных для самого института, его внутренней конституции. Об этом ниже.

А пока что нет никаких признаков учета этого движения к реальности, к пониманию сложности и гетерогенности социокультурной материи социологией (это был бы первый признак собственно теоретической работы). Болезни российской социологии (социальных наук в широком смысле) давно и всем известны: это творческая бесплодность (отсюда — нужда в заимствовании флажков и символов), интеллектуальная трусость или отсутствие интереса к реальности. Рассуждения о «необходимости теории» в социологии (или шире — социальных

названием, мы увидим, что на 9/10 эти пухлые сборники представляют собой ридерз-дайжесты, содержащие без какой-либо аналитической интерпретации или разбора фрагменты переводов работ западных авторов, никак не связанных с проблематикой актуальных исследований российского социума. Предназначены они, если судить по их «имплицитному читателю», т. е. издательской и читательской адресации, студентам или молодым преподавателям в качестве иллюстративного материала или цитатников в рамках соответствующих университетских курсов. Не более того.

науках) оказываются суррогатами моральных и ценностных самоопределений, попытками привстать на цыпочки, показывая, что мы уже большие, и разыграть спектакль «сцены настоящей науки». По существу же перед нами «попытка с негодными средствами», так как не только нет интереса к собственно теоретической работе или нет соответствующей квалификации у тех, кто претендует на занятия теорией, но нет (и это, пожалуй, самое главное) интеллектуальной среды, которая могла бы воспринимать новые идеи, не говоря уже о том, чтобы их систематически вырабатывать.

Такое положение в отечественной науке не просто не случайно, оно представляет собой особенность ее внутренней организации.

Признаками того, что у нас нет потребности в теории, я считаю, как это говорил много раз, отсутствие дискуссий, прежде всего, по расхожимся интерпретациям одних и тех же данных, одних и тех же подходов, описаний, обсуждений корректности использования тех или иных предметов описания и прочее¹.

Можно спорить о том, стала ли лучше в последние 15–20 лет ситуация в этом плане или хуже, или она вообще не изменилась. Первый вопрос здесь: с чем сравнивать и как оценивать². Если сравнивать ситуацию в социальных науках с советскими временами, как это делают И.С. Кон или В.А. Ядов, то, несомненно, мы должны отмечать некоторый прогресс: расширение масштабов исследовательской работы, разнообразие ее тематики, появление новой литературы, повышение методического и технического уровня эмпирических исследований и т. п. Однако я бы отметил и очевидные проявления внутренней деградации, характеризующие состояние дисциплины в последние годы и связанные, на мой взгляд, с утратой чрезвычайно важных ценностных моментов исследовательской работы, мотивации познавательной деятельности. Поэтому сравнивать нынешнее положение, мне кажется, нужно не только с предшествующей фазой (такое сравнение дает вполне очевидные позитивные изменения), а с уровнем «должного», с тем пониманием те-

¹ Единственным исключением можно считать исследования общественного мнения, в частности, изучение электорального поведения, где ангажированность участников весьма высока, а поле расхождений в интерпретациях очень широко (несмотря на значительное сходство данных, получаемых разными центрами или, напротив, как раз именно поэтому).

² Эта тема прозвучала в недавнем очень интересном интервью И.С. Кона с Л. Борусяк: <http://www.polit.ru/analytics/2009/01/20/kon.html>

оретической работы, которое присутствует у И.С. Кона или Ю.А. Левады, с «идеальным» представлением о теории, пониманием, для чего она нужна, как связана с корректной, серьезной исследовательской работой³.

Мне приходилось часто отмечать некорректность широко распространенной практики прямого заимствования понятий или концепций западных социальных наук и их механического приложения к российской реальности. Но выводить из этого заключение, будто нам не нужен опыт европейской или американской социологии, будто российская реальность, общество и история настолько уникальны, что их изучение не нуждается в западном теоретическом аппарате, было бы неверным или недобросовестным занятием. Доказывать, что такая деятельность крайне необходима, несмотря на все недостатки и ущербность нынешней рецепции, связанной с длительной изоляцией российской науки от мирового развития, значило бы «ломиться в открытые ворота». Но это совсем не значит, что не надо менять характер освоения этого ресурса. Сегодня чаще используются «слова», оказывающиеся всего лишь ярлычками приобщенности к современному состоянию (знаками нормы, интеллектуальной моды на то, что сегодня носят в Европе или в Америке), но за рамками понимания остаются сам генезис этих понятий или их функциональный смысл, драматический характер процедур образования новых теоретических понятий, то, как появляется на свет научная «проблема», какими средствами она фиксируется, в какой концептуальной перспективе разрабатывается, какие возможности открываются с выбором именно такого-то аппарата, а что при этом неизбежно теряется, что может быть компенсировано или дополнено обращением к альтернативному подходу и т. п.

Обсуждение или анализ эффективности понятия можно вести только при условии ясного

³ При всей ограниченности условий и возможностей для социологической работы в советское время ее внутренний смысл для некоторых из тех, кого мы сегодня относим к поколению отцов-основателей, был в полной мере определен стремление к личностной эмансипации, к утверждению собственной свободы, личностного достоинства, которые непосредственно связаны с качеством и широтой познавательной деятельности. Соответственно, сама социологическая работа (при условии интеллектуальной порядочности) неизбежно окрашивалась в тона сопротивления тупому и репрессивному окружению. Понять тоталитарный социум означало (хотя бы в перспективе, в муте отдаленной возможности) изменить существующее общество. Это та ценностная или этическая составляющая, которой начисто лишены молодые элиты постмодернизма и присутствие которой у людей старшего поколения так раздражает их.

понимания, в ответ на какую социальную или культурную, интеллектуальную коллизию, исследовательскую задачу, выработано соответствующее понятие, или термин, какой у него ценностный или идеологический «бэкграунд», как оно связано с историческими, культурными, групповыми или политическими интересами, каковы его функциональные возможности (генерализационные, модальные, идеографические), его смысловые ресурсы (ассоциативный ряд) и проч. Если бы это имело у нас место, т. е. началась бы серьезная теоретико-методологическая дискуссия по каким-то вполне содержательным проблемам социального знания, то, я уверен, были бы задействованы не последние по времени публикации, с которыми ознакомились те, кто учился или стажировался в зарубежных университетах и вынес оттуда то, что там на тот момент было актуальным, а гораздо более ранние пласты социологической работы, ресурсы основного корпуса позитивного социологического знания (сложившегося в 1930–1960-х гг.), сегодня остающегося по существу мало известным у нас. Чтобы обсуждать продуктивность научных понятий, необходима история этих понятий, история соответствующих концептуальных разработок, т. е. динамика смысловых трансформаций научных понятий на разных фазах работы. Ничего экзотического в таком подходе нет, сошлюсь в качестве примера на соответствующие анализы такого ключевого понятия, как «тоталитаризм», потребовавшие длительных дискуссий в среде историков, социологов и политологов.

Подобных разработок в российской социологии нет, могу утверждать это с уверенностью. В результате мы в нашей литературе сталкиваемся с массой, по существу, по функции, оценочных понятий, остающихся в предметном смысле фантомами, понятиями с неясным эмпирическим референтом («средний класс», «гражданское» или «сетевое» общество и проч.). Поэтому попытки начать «дискуссию о методах» (хотя бы в виде: что лучше — «фреймы» или «практики», как это было подано в программе нашего симпозиума) вне контекста отечественных разработок могут быть лишь имитацией профессиональной деятельности или своего рода шоу, рассчитанным на сравнительно невзыскательную публику. Такого рода суррогаты механизмов самоорганизации науки или разновидности «карго-культы», весьма вероятно, будут популярны в среде постмодернистских эпигонов, поскольку именно такое «обновление» затребовано нынешними социологами, в этом

плане принципиально отличающимися как от западных коллег, так и от уходящего поколения российских социологов или гуманитариев.

Апелляция к тому, что сегодня в России называется «теоретическими проблемами социологии», имеет совершенно другой смысл и функциональное назначение, нежели в западной социологии. Там речь идет о рационализации средств и оснований познавательной деятельности. Здесь призывы такого рода связаны с дефицитом средств и оснований профессиональной идентификации (отчасти — дефицитом специфически академической гратификации), в основе которых также неявно лежат проблемы ценностного самоопределения и мотивации научной работы, выбора объекта исследования и соответствующих средств анализа. Истошенность ценностной сферы, за символы которой идет жестокая конкуренция в образованной среде, смысловая, нравственная и культурная бедность общества, оставшаяся от тоталитаризма, — вопрос чрезвычайно чувствительный как для общества в целом, так и для такого зависимого от этих вещей института, как наука, прежде всего, социальная наука.

3

Почему, собственно, в России нет запроса на теоретическую работу? Попробую развернуть иначе этот вопрос: а как вообще возникает запрос на теоретическую работу? В каких обстоятельствах нужна теория социологии и что это такое?

Признание важности теоретической работы, значимости теории в социальных или социально-гуманитарных науках складывается, по меньшей мере, из трех источников. Во-первых, теория, генерализующая концепция, дает объяснение целого ряда темных мест в социальной жизни, т. е. оказывается не просто средством описания действительности, а принципом ее понимания, объяснения того, что происходит в обществе, истории, в самом человеке. Это важнейшая функция социального знания, предназначенного для общества, для публичной рефлексии. Подобные широкие схемы интерпретации множества явлений действительности, охватываемой данной схемой, становятся фазами самоконституции общества, если говорить о социальных науках, или фазами самоконституции дисциплин, дающих предметные конструкции целых областей знания, «предметных регионов». Их появление представляет собой концентрированный ответ на ценностные коллизии, существующие в обществе.

Познавательный интерес, требующий появления подобных теорий большого класса, мотивирован, как говорил Вебер, «бегущим светом великих культурных проблем». Таковы теории рационализации, современности, модернизации, теории личности и им подобные социальные или антропологические конструкции, включая идеи культуры, истории и проч. В зависимости от степени генерализации объяснения теория может играть роль «черного ящика», когда в ее структуре свернуто множество факторов и схем взаимосвязей, процессов или нормативной смысловой конструкции «социального действия» (института, группы и проч.). Специфика «социологии как науки о действительности» вытекает из ее методологической установки: социология — это наука, предмет которой составляют структуры социального взаимодействия, предполагающие, следовательно, акты понимания действующими друг друга. Именно сфера понимания является границей социального, а механизмы понимания (ресурсы «культуры») — тем минимумом дисциплинарной «онтологии», базовых конвенциональных конструкций дисциплинарной реальности, без которых не может обходиться ни одна наука. Другими словами, социология — это наука, в которой процесс теоретизирования исходит (логически первично) из актов субъективного смыслового полагания. Такая посылка устанавливает принцип элиминации всего, что находится за рамками понимаемого, — никакой метафизики, никакой априорной реальности. Но выделение значимого (отделение от незначимого) и важного в каких-то отношениях, интересного для исследователя материала обеспечивается исключительно личностным познавательным интересом ученого, его собственным субъективным отношением к происходящему. Подчеркиваю этот аспект, важный, как никакой другой. Способность «быть заинтересованным», таким образом, сама по себе — уже характеристика весьма развитой субъективности, возникающей только в условиях интенсивной социальной и культурной дифференциации. В познавательном ценностном интересе трансформированы внутренние личностные коллизии и заботы, моральные, групповые, идеологические, экзистенциальные проблемы. Это вовсе не естественно или спонтанно возникающая характеристика личности или общества, каких-то его групп. Готовность «загораться» чем-то, что не связано с непосредственным удовлетворением желания, — продукт длительного культивирования и самовоспи-

тания, самодисциплинирования, требующего сложной системы институциональных и групповых санкций (в том числе длительной религиозной, гражданской, политической, экономической и прочей социализации).

Способность со страстью¹ относиться к действительности, а соответственно, наделять происходящее смыслом и значением, то есть видеть в науке способ обращения с реальностью, — вещь столь же индивидуальная (и редкая у нас), как и способность к любви, но именно поэтому она так высоко ценится в европейском обществе и культуре². Новые точки зрения на реальность, новый интерес к ней, потребность в новых объяснениях и понимании материала могут появляться только как ответ на свои собственные жизненные, личностные или экзистенциальные проблемы. По существу, такого рода значения образуют ценностные основания дисциплины, подчеркиваю, не аксиоматические, а именно: ценностные, соединяющие культурные проблемы и познавательные средства и инструменты, т. е. то, что составляет внутренний этос автономной науки. Другими словами, мотивация познания непосредственно связана с принципами институциональной организации науки. Только там, где есть или где гарантирована автономия науки, независимость ее от внешних регуляций, где выражен субъективный интерес исследователя, возникает внутренняя потребность в понимании и готовности к постижению реальности, выливающаяся в разработку генерализованных средств ее объяснения. Эпигон же — это всегда имитатор чужой страсти.

Это первая плоскость вопросов о том, как возникает спрос на теоретическое знание.

Второе условие рождения спроса на теоретико-методологический анализ или причина появления новых теорий — столкнове-

¹ Такой, как, например, у М. Вебера, доведшей его до полного нервного истощения и многолетней психической болезни.

² Напротив, вся система профессиональной социализации в нынешней отечественной социологии направлена на развращение студента, на подавление у него самой возможности возникновения подобного интереса и следования ему в процессах обучения и самореализации. Непропорционально большой объем обучения маркетингу, политтехнологиям, пиару, упор на методику и технику обработки данных в ущерб исторической, гуманитарной и собственно теоретической подготовке — все это вполне сознательная и планомерная деструкция ценностной основы дисциплины. С результатами этого можно ознакомиться по взвешенному и обстоятельному анализу состояния российской социологии, данному в работах М.М. Соколова, см., например: *Соколов М. Реформируем ли соцфак МГУ? Институциональные барьеры на пути студенческой революции* // <http://www.polit.ru/analytics/2007/05/25/socfak.html>; *Он же. Российская социология на международном рынке идей* // <http://www.polit.ru/science/2008/09/10/sokolov.html>

ние парадигм (теорий одной и той же группы фактов), предложенных или разработанных в рамках различных подходов и школ. Подобные коллизии заставляют пересматривать методы и базовые посыпки общепринятых систем объяснения, конструкций фактов и принципов оценки их достоверности, надежности, валидности, корректности интерпретаций, требуют анализировать генезис тех или иных теоретико-методологических процедур, характер установления связности, причинности и т. п. функциональных отношений объяснения. Не обязательно это должно сопровождаться «научными революциями» в духе Т. Куна. Это может быть рутинная методическая работа самоконтроля проделанных объяснений и процедур получения данных, рефлексия относительно адекватности применяемых мер, подходов и способов объяснения. Нахождение новых принципов объяснения, снимающих одномерности прежних теоретических конструкций, оказывается в таких ситуациях нормальным решением постоянно возникающих в научной практике вопросов интерпретации, а сам разбор понятийных конструкций, их генезиса или границ генерализации — реакцией на социальные ожидания различных участников научного процесса¹.

И наконец, третья плоскость рассмотрения, или третий тип причин обращения к теории, возникающий из второго, — это само устройство науки как института, в рамках которого постоянно работает репродуктивная подсистема, включающая механизмы «памяти» института и социализации новых членов сообщества, а стало быть, идет непрерывная селекция и отбор значимого и проверенного знания, признанного в качестве бесспорных научных результатов, в качестве «образца» для «исторической упаковки» и примеров для преподавания, для профессионального обучения следующего поколения. По отношению к преподаванию здесь работают механизмы формализации знания, подчиняющиеся принципам объяснения функционирования института. По отношению к «истории» теоретическая и методологическая

рефлексия направлена иначе: она ориентируется на выявление скрытых посылок и условий познавательных процедур, латентного знания, общекультурных импликаций в корпус специализированных знаний, перенос социальных ожиданий и требований в научные процедуры и проч.

Суммируя, я бы сказал, что смысл и значение теоретического знания заключается в следующем. Общая теория служит не для описания реальности, а для систематизации и упорядочения способов корректного (т. е. принятого и одобряемого в академической среде) соединения концептуальных систем (разных «теоретических языков»). Тем самым назначение общей теории — дать возможность исследователю сообществу контролировать, т. е. проверять, сами способы, которыми соединяются в единое синтетическое целое — объясненную «реальность» — различные его элементы, теоретические понятия, имеющие *разное происхождение, разный в методологическом плане генезис*. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы а) избежать «диалектических мнимостей», когда объясняемое и объясняющее содержат одни и те же компоненты, описывается лишь то, что объясняется средствами описания; б) определить эффективность синтеза (устойчивость процедур, генерализационный потенциал). Соответственно, критика результативности объяснения начинается с проверки условий введения понятийных элементов базовой концепции, используемой для описания (отбора таксономических единиц) или объяснения (установления причинно-следственных или функциональных связей и их конструкций). Поскольку и отбор материала, и способ интерпретации заданы не *онтологически*, т. е. какой-то априорной картинкой реальности (в социологическом отношении это означает — обеспечены догмами, жесткими групповыми конвенциями держателей нормы реальности), а мотивированы специфическим ценностным интересом исследователя, его субъективным выбором соответствующих предметных теорий и концепций в качестве средств объяснения, то одной из важнейших задач теоретической работы всегда оказывается выявление функциональной роли ценностей исследователя. Речь при этом идет о необходимости различения практических оценок и конститутивной роли ценностей, познавательного, ценностного интереса ученого, отделяющего важное от неважного, незначимого. Иными словами, смысл теоретической — постоянной, черновой — работы заключается в

¹ В принципе здесь возможны два направления теоретической работы: первое — разработка единого дисциплинарного языка описания и объяснения, «общая теория» (какой ее видели, например, Т. Парсонс или Н. Луман), а второе, прямо противоположное направление работы — методологический и генетический анализ практики эмпирической работы, изучение того, как в ходе черновой эмпирической работы происходит использование языка разных теорий, разных концепций, часто принадлежащих разным предметным регионам, разных пластов научной культуры.

контроле условий введения предметной теории и правил ее использования для определенных задач исследовательской и аналитической работы. В самой теории не содержатся правила ее построения (=ее генезис), а лишь правила (нормы, социальные конвенции) ее использования в качестве либо препарированного и методически контролируемого описания, либо, опять же, методически строгого объяснения (параметров генерализации или установления функциональных связей между элементами рассматриваемых конструкций).

Практическое назначение теории состоит в «опускании» промежуточных фаз или цепочек рассуждения, исследования, обусловленное задачами методологической проверки корректности рассуждения. Это то свойство, что называется «красотой», или «экономностью» теории или концепции.

Правильное (корректное) использование теории заключается в установлении границ применимости – пределов использования теории, недопущении изменений модальности ее применения или переноса ее на несоответствующий материал. Нельзя допустить «одновременное» использование одной и той же концептуальной схемы или системы и как описания, и как объяснения. В противном случае мы имеем дело с диалектическими мнимостями, мифами, сменой субъектов действия (анализа, описания, объяснения и т. п.), как это имеет место в многочисленных случаях использования «архетипов», цивилизационных подходов или внеисторических «институциональных матриц».

4

Что мы имеем в нашей ситуации? Как бы значительны ни были изменения за 20 лет, прошедшие с распада СССР, институциональная организация самого института науки в нашей стране по сути своей не изменилась или изменилась несущественно. Расширился диапазон организационных форм научной деятельности, но мейнстрим социальных наук по-прежнему представлен рутинной продукцией академических институтов (это львиная доля всего социального знания) и ведущих университетов (удельный вес последних в общем раскладе гораздо более скромный). Никакой институциональной автономии при этом у них нет и в обозримом будущем не предвидится. Академические институты и университеты подчинены государству, финансируются из бюджета, планы их работы контролируются соответствующими инстанциями, задающими направление

и цели научной работы. Как и в советское время, доминирующая мотивация исследований здесь обусловлена интересами тех, кто представляет власть, основное назначение науки это обслуживание сегодняшних интересов властей. Поэтому все планы научной работы, общая направленность и характер преподавания¹ заданы ориентацией на власть, на ее сформулированные или предполагаемые запросы (которые вообще-то могут и не быть сформулированными, их зачастую надо угадать, важно объяснить властям ту пользу, которую могут принести им соответствующие разработки). Адаптация постановки проблем, приспособление исследовательской работы к видению действительности лицами, располагающими властью, деньгами, административными ресурсами, оказывается более важным фактором, нежели концептуальные ресурсы самой дисциплины. «Этос» государственной сервильности в постсоветской российской социологии определяет институциональные каноны исследовательской работы. Организационные формы научной деятельности в этом плане могут несколько отличаться друг от друга, равно как и сами формулировки задач, но функция и суть их остается примерно той же самой: необходимость обеспечения эффективности государственного управления².

Иными словами, производство знания, как и в советское время, ориентировано на практические интересы номенклатурного или заменяющего его руководства, которое выступает и главным оценщиком достоверности знания,

¹ Разумеется, эти задачи могут быть дополнены преподаванием разного рода курсов, обеспечивающих студента ресурсами профессиональной квалификации – знанием маркетинговых технологий, пиара, теорий организаций и менеджмента и прочего, всего, что сегодня требуют управляемый рынок и суверенная демократия.

² Соответствующие пассажи и формулировки нетрудно найти в статьях и выступлениях руководителей социологических институтов Г. Осипова, В. Кузнецова, М. Горшкова, В. Жукова и других, опубликованных в «СОЦИС» или иных журналах. У А. Ослона эти аксиомы научной мотивации выражены более простодушно, а потому и более вульгарно: «Социология должна обслуживать лиц, принимающих решения». Но уж совсем в духе «Наших» эти установки науки представлены в хвастливом девизе сурковского ВЦИОМа: «Знать, чтобы побеждать». «Социология» в этом новом ВЦИОМе включена в состав политехнологической машины обработки общественного мнения, ее задачи ограничены технологией сбора социальной информации, а использование последней и толкование полученных результатов отдано начальству или тем, кто ему исправно служит. Именно такая форма и проектировалась в середине 1960-х гг. советским начальством: допустимы только методика и техника социальных исследований, а интерпретация (=общая социология) должна оставаться за истматом, т. е. партийно-идеологическими инстанциями. Но, опять-таки добавлю, этому же преимущественно учат сегодня и в лучших российских университетах, а именно: технике обработки и статистического анализа данных.

его фальсификации, верификации, оправдания и т. п. Собственные научные критерии исследовательской деятельности здесь не работают или выражены очень слабо, внутренние проблемы науки также не важны; имеют значение только внешние, экстранаучные, экстраинституциональные критерии знания и его производства. Поэтому и сегодня для основной части занятых в социологии, т. е. внутри самого института науки, приоритетны главным образом вертикальные связи, включая и вертикальный характер финансирования, сертификации кадров и их подбора, структуры авторитетов, тематики исследований и механизмов академического признания. А это означает, что отсутствуют или мало значимы механизмы внутрикорпоративной организации, внутрикорпоративные оценки деятельности работы ученых, оценки их достижения, соответственно, оценки применяемых инструментов, процедуры проверки адекватности полученных результатов и всего прочего¹.

Таким образом, отсутствие дискуссии, обсуждения полученных результатов, рецензирования, полемики, принципиальной избыточности информации и прочего, что необходимо для функционирования «нормальной науки», оказывается вполне объяснимым и закономерным. Они не нужны, поскольку не возникает проблемы конфликта интерпретаций², обусловленных разными познавательными интересами и средствами объяснения. Раз действует практика вертикального согласования полученных результатов (или ориентация на нее), то внутренних импульсов дискуссии по поводу расходящихся трактовок в такой ситуации практически и не может возникнуть. Проблема интерпретации получает исключительно нормативный характер, поскольку ее характер, направленность и сами стандарты контролируются интересами власти и управления³.

¹ Многие социологи не согласятся с моими определениями, полагая их слишком радикальными и депрессивными, однако мало кто возражает против такого типа институциональной организации социальных наук, что представляется мне более важным в данном случае.

² Как говорил один из политехнологов в сурковском окружении, приписанных к президентской администрации, «нам не нужны ваши интерпретации, нам нужны данные, а интерпретировать мы сами будем».

³ Лучшим примером здесь являются разногласия по поводу наличия и размеров «среднего класса» в России. Никем не осознается, что когда в отечественную практику, в отечественное преподавание, в отечественные исследования переносится западный материал, западные подходы, западные идеи, то этот материал вырывается из контекста их возникновения и разработки. В этих случаях концепции привносятся сюда как нечто совершенно готовое, чужое, абстрактно-отвлеченное или, напротив, использование западных понятий и терминов тянет за собой латентный и плохо учитываемый пласт оценочных значений. Тем самым при работе с ними, при отождествлении понятий и реальности

Но по тем же причинам и преподаваемая история социальных дисциплин оказывается никак не связанной с историей исследований. Это два разных и не пересекающихся друг с другом потока текстов.

А раз так, то вполне справедливы утверждения о сохраняющемся «изоморфизме», как сказал бы наш покойный коллега Ю.А. Гастев, между воспроизводством той академической серости (или беспринципности научного сообщества) и авторитарным режимом и бедностью научных интерпретаций.

Разумеется, можно найти исключения из этого общего правила, но они (о чем уже упоминалось) будут иметь индивидуальный, а не институциональный характер: импульсы, которые толкают некоторых исследователей заниматься теоретическими вещами, все-таки существуют. Правда, их положение всегда будет положением маргиналов, вытесненных на периферию общественного внимания и интереса коллег⁴. Или, другими словами, конститутивные ценности и когнитивные конвенции постсоветского российского академического сообщества *периферийны* для научных организаций этого типа.

Впрочем, такое положение вещей мало кого волнует, поскольку, как я уже говорил, проблема верификации или фальсификации результатов исследования, значимости получаемых объяснений не так важна в существующих институциональных контекстах, как демонстрация знаков «научности», в качестве которых и используются западные имена или термины. Функция такого использования западных имен, западных подходов преимущественно демонстративная, идентификационная. Западная социология используется не как «библиотека» исследовательского опыта, а либо как арсенал готовых отмычек для решения стандартных — по умолчанию — проблем социальной реальности, либо как кормовые участки для тех, кто занимается «теорией социологии» или «историей социологии». Ссылки на западных ученых в большинстве статей оте-

в наших обстоятельствах возникает эффект ложного опознания, последствием которого становится неадекватное применение понятия.

⁴ Этим объясняется, в частности, и принципиальный для отечественной организации науки разрыв между практикой преподавания и исследовательской работой. Разработка теорий связана преимущественно с историческим характером преподнесения материала западных концепций в учебных курсах (в европейских или американских университетах эти сферы более или менее соединены в одно целое). Поэтому даже вполне адекватные и серьезные аналитические работы по изложению концепций того или иного западного автора представляют собой не более чем пересказ его идей, данных вне учета проблемной ситуации, в которой они возникли.

чественных авторов — это не нормальная процедура отсылки к уже апробированной кем-то методике или высказанной гипотезе, отсылка к мнению, не подлежащему в данных случаях проверке, т. е. к уже проделанной работе, а значок собственной «квалифицированности», символ доступа к не всем доступным ресурсам, поскольку цитируются не рабочие тексты, а указываются авторитеты, которые должны подтвердить или сертифицировать «профессиональное» качество соответствующего автора. Повышенная семиотическая значимость этого цитирования, не имеющая отношения к проверке гипотез или полученным достоверным результатам, указывает на церемониальный характер научной деятельности, что ставит под сомнение сам ее смысл. Это подтверждается фактами систематических разрывов с мировой наукой, которые убедительно продемонстрированы уже упоминавшимся М. Соколовым на примерах индексов цитирования.

Главная проблема российских социальных наук заключается в бедности ее ценностных оснований, которая задается институциональными формами ее организации, соответственно, систематическим подбором людей или их принуждением и «обкатыванием». Характер этой бедности обусловлен убожеством представлений о человеке и обстоятельствах его существования, его внутренней жизни, его связях с другими, образующими «общество» вне государства. В поле внимания российских социологов оказываются главным образом те аспекты человеческого существования, которые релевантны в каких-то отношениях для задач «управления», интересов государственных структур. Самостоятельного интереса к различным сторонам человеческой жизни, особенно тем, которые представляют собой сложные формы поддержания самоидентичности или интимных отношений с окружающим миром, у российских социологов нет. Отчасти дело, конечно, в грубости самих нравов и «простоте» социальной материи посттоталитарного и механически интегрированного социума, но этим дело не исчерпывается. Более существенным следует считать вульгарность самих социологических представлений о российском обществе, порожденных органической зависимостью социальных наук от власти и глубинными ориентациями на нее, а не на «общество». Именно эта ограниченность, стерильность ценностных представлений и бросается в глаза в сравнении с характером познавательного интереса (а значит, и научной этикой) в социальных науках

европейских стран или Америки, считающихся (явно по недоразумению) образцами для российских исследователей. Возможно, именно это обстоятельство и определяет мотивацию российских эпигонов, пытающихся присвоить себе хотя бы знаки чужой полноценности. Имитация чужих, но авторитетных приемов и идей, т. е. склонность к эпигонскому заимствованию знаков «признанного», оказывается компенсацией за неспособность понимания своей реальности. Демонстрация чужих флажков позволяет закрыть глаза на историю своей страны, ее нынешнее состояние, мораль, массовую культуру, интеллектуальные и человеческие особенности ее «элиты». Или иначе и, может быть, точнее: действующая интеллектуальная (научная) организация «производителей идей» в нашем «обществе-государстве» предполагает — как условие функционирования и консолидации научного сообщества — слепоту и неспособность к пониманию своего национального и исторического прошлого, своеобразия своего «культурного» пространства, позволяя тем самым ее членам быть «свободным» от чувства ответственности за него.

Психоаналитик, вероятно, связал бы вытеснение у некоторых постмодернистов латентного чувства ущербности или неполноценности, подавляемого рессантимента, с их интересом к насилию самого разного рода: это может быть и замороженность левым марксизмом и революционизмом, и радостное принятие радикальной критики позитивной академической социологии или, напротив, интерес к антимодерности и склонность к политическому или философскому консерватизму, в ряде случаев даже — фундаментализму и т. п. Едва ли можно считать случайным в нашей литературе повышенное внимание к фигурам, к которым позитивистская либеральная социальная наука относится с явным предубеждением, к таким, как, например, Н. Хомски или К. Шмитт, при отсутствии должного внимания к основному корпусу социологической литературы (особенно относящейся к 1930—1960 гг.), включая классические работы Вебера, Зиммеля, Парсонса, Мертона и еще очень многих других. Для меня важен сам факт использования чужой критики теории для собственных нужд. Конфронтационный характер идеологических отношений легко переносится на нашу почву, меняя, правда, свою направленность: здесь не академический истеблишмент становится причиной отторжения, а как раз наоборот — ангажированные, но не академические научные группы и исследовательские

структуры. Как и в низовых слоях общества, у слабых в социальном плане или переходных групп, компенсаторное любование силой, насилием, пусть даже это чужое насилие, принимающее вид «настоящего бандитского шика», как говорил Мандельштам, сохраняется и в социальных науках в качестве важного ресурса самоутверждения и самоидентификации.

5

Таким образом, настроения среднего поколения российских социологов, выступающих с идеями постмодернистской ревизии социологии, интересны не собственно своим теоретическим «радикализмом», или «новационностью» (этого как раз и нет или маловато будет), а своей «симптоматичностью», «избирательным родством» с массовыми представлениями, образующими базу коллективной идентичности. Теоретической оригинальности в предлагаемых подходах или концепциях в действительности как раз и нет (иначе сама демонстрация заимствований была бы не так важна). Более того, элементы эклектического постмодернизма в размытом и менее концентрированном виде уже давно вошли в обиход основной массы университетских преподавателей, знакомых с социологией по свежим переводам новейшей литературы, ссылками на которую полны нынешние учебные пособия и курсы. (О качестве их или характере отбора сейчас не говорю.) Смесь раздражения, стеба, апатии, комплекса ущемленности в сочетании с функциональной необходимостью фигур «врагов» представляют собой чрезвычайно характерные и устойчивые реакции на происходящее основной массы населения нашего общества. Явно не будучи способным справиться с напряжениями, вызванными перспективами трансформации тоталитарного социума, необходимостью собственных усилий и веры, российское общество реагирует на текущие процессы вялым раздражением и цинизмом, характерным для людей, которых долгое время донимали моральными прописями: «Оставьте нас в покое». Оно предпочитает дисквалифицировать сами источники внутреннего морального или ценностного «инога», чем сделать такие же шаги, какие предприняли общества других стран. Это понятная реакция астенического поколения, приходящего вслед за поколением «хронической мобилизации», поколения детей советских «идеологических погромщиков» и их жертв. Собственное бессилие оборачивается стойким негативизмом к любому акту сознательного и ценностно выраженного

отношения к реальности, в первую очередь — к необходимости аналитического понимания источников насилия и принуждения, будь то в прошлом или в настоящем страны. (Тот же психоаналитик мог бы рассказать, какую смещенную реакцию агрессии вызывают попытки проникнуть в зону травматического сознания пациента, какие мощные защитные силы вступают в игру, когда дело касается самых важных, а потому и очень болезненных точек самоидентификации, вины, рождающейся из сознания своей несостоятельности и т. п.)

Таким образом, дело не в смене поколений¹ и не в акциях или манифестациях постмодернистов, а в проблеме ценностей исследователя в нашей науке, в механизмах самостерилизации ученых или исследователей. Здесь мы сталкиваемся с теми же явлениями или процессами, что уже зафиксированы нами в других сферах общественной жизни: устойчивости механизмов примитивизации, ценностной девальвации, декультурализации социальных отношений. Это не раз описанные в работах Левада-Центра стратегии пассивной адаптации населения, снижения уровня запросов, «понижающий трансформатор» человеческих отношений, массовый цинизм и показная религиозность, ригоризм и репрессивность в оценках. Именно эти проявления, казалось бы, должны стать предметом теоретической работы социологов, явно оказавшихся перед необычными проявлениями человеческой природы, реверсными движениями модернизационных процессов и культурной инволюции. При первом приближении к этим проблемами можно сказать, что здесь модернизационные или культурные новообразования нейтрализуются гораздо более примитивными и архаическими регулятивными механизмами и их соединениями.

Но пока нет никаких признаков подобного движения к «реальности». Вместо этого идет постоянное снижение интеллектуального уровня науки (разумеется, по отношению к **должному** и **ожидаемому**, а не к фактическому уровню советской и постсоветской науки).

Циническую позицию, которая мне мерещится за модой на постмодернизм, я рассматривал бы как признак слабости или творческого бесплодия, все равно, к какой бы сфере общественной жизни это ни относилось: к науке, к социальным отношениям или к литературе. Кстати, о литературе.

¹ В строгом смысле слова, смена поколений не меняет институциональную структуру отечественной науки.

Я глубоко убежден, что возможности развития у российской социологии связаны с перспективами ее кооперации с другими гуманитарными дисциплинами, возможностями обмена методами (концепциями) и материалом. Для меня признаками изменения ситуации в социологии было бы именно обращение социологов к материалу символических форм, оказывающихся предметом рационализации гуманитарных наук. Бедность своих антропологических конструкций российская социология могла бы компенсировать вторичным анализом того, что репрезентируют история, искусство, литература, кино. Именно их опыт и наработки могли бы дать импульс для собственной теоретической работы социологов (что, по сути, и делается постоянно в западных социальных науках — все научные бестселлеры последних лет связаны именно с такого рода работами). Эти сферы и, стало быть, науки, которые ими занимаются, оказываются гораздо более чувствительными к изменениям смысловых структур, моральных взаимоотношений в обществе, меняющих системы социальных связей. Если бы мы были чуть опытнее и внимательнее, мы могли бы задолго до нынешней фазы увидеть, предугадать нарастание многих явлений и тенденций, например, потребность в авторитаризме, эрозию и разложение элит, слабость солидарных отношений, блокирующих модернизационные процессы и многое другое. Однако ткнуть туда с теперешним концептуальным аппаратом социологии совершенно невозможно, ибо понятийные средства не позволяют фиксировать, анализировать и объяснять сложные формы и структуры взаимодействия, такие, как смыслопорождающие действия, игровые структуры и т. п.

Видимо, отсюда же проистекает популярность научных суррогатов или интерес к промежуточным или внедисциплинарным формам интерпретации, к эссеистике в духе М. Фуко, Ж. Батая, Ж. Делеза и других французских постмодернистских интеллектуалов. Их многообразие, нестрогость, неопределенность, если не сказать — мутность мысли, живописность, частые двусмысленности, вызывающие вполне оправданное нареkanie и раздражение позитивистски настроенных ученых, не отменяют функциональной значимости их работы. Они внимательны к внутренним движениям человеческого сознания, они тоньше чувствуют смысловую и социальную диалектику негативных сторон модернизации или становящегося современным общества. Они (или же — их эпи-

гоны) пытаются ощупать то, что не поддается терминологическому закреплению, то, для чего нет в общепринятых концепциях понятийных средств описания и объяснения, а именно: текстуру сложных смысловых отношений и конструкций. Как правило, даже в случае удачных заимствований такие описания принимают форму ценностно-нагруженных внутридисциплинарных или гуманитарных конвенций, не позволяющих их применение в других дисциплинах. Иными словами, для исследователей это очевидный, хотя и вынужденный паллиатив.

Для собственной социологической работы все равно приходится подобный материал переинтерпретировать, т. е., скажем, в литературных формах (т. е. — средствах литературного конструирования) увидеть нормы социального взаимодействия, проекции социальных взаимодействий и образований, социальных морфем, выступающих якобы как чисто эстетические конструкции. Нужно разбить их на отдельные элементы — времени (структурированного по типам действия), пространства, антропологии (судьбы, сюжетобразующих коллизий, типов сюжетов и типов персонажей, точки зрения автора как проекции определенных нормативных определений реальности). То же самое — и по отношению к истории или экономике. Здесь проблемы сложной мотивации экономического взаимодействия, доверия, солидарности, механизмы депривации, институционализации правил согласования смысла действия, контроля, гратификации, веры и проч. самым решительным образом требуют социологической интерпретации в категориях сложных форм социального действия. Нынешние подходы, скажем, в духе «рационального выбора» или тому подобных моделей страдают от принудительного экономического, инструментализирующего то, что по существу не является целевым действием.

6

Проблема в том, что социология (как и другие социальные или гуманитарные науки) не «видит» в силу разных причин сложные феномены, сложные, «метафорические» по характеру своего синтеза символических и нормативно-ценностных регулятивов формы социального поведения, соединения гетерогенных социальных и институциональных структур и культурных пластов, поскольку они не укладываются в ее сегодняшний расхожий и крайне бедный аппарат. Это слепота обусловлена тем, что достижения и результаты работы других дисциплин

(истории, литературоведения, философии, психологии или психоанализа, культурологии в широком смысле — наук о духе, истории идей и понятий, истории повседневности и проч.) не могут быть переведены на язык социологического знания. Нет понятий и инструментов для выражения сложных форм поведения, прежде всего — смыслопорождающих или смыслогенерирующих, смыслотранслирующих форм и т. п. Социальные науки сегодня работают либо с крайне упрощенными формами действия (целерациональными или ценностнорациональными), либо с эвристическими и мутными, «нечистыми» формами действия и взаимодействия, что создает иллюзию значительности или условия для шарлатанства.

Однако подобные теоретические разработки сложных форм социальных действий, в свою очередь, невозможны без понимания того, как происходит институционализация смыслополагания — обучение, согласование, социальный контроль, согласование интересов, принуждение или наоборот.

Поэтому, если говорить всерьез о перспективах теории социологии, есть несколько крупных задач, оказывающихся особенно важными именно для российской социологии, поскольку социальная гетерогенность здесь на порядок выше, чем в стабилизированных европейских обществах или в США. Более того, именно здесь мы наблюдаем инволюционные варианты развития, что делает шансы на генерализацию подобных теорий гораздо более высокими, позволяя предлагать соответствующие модели (предположим, что они разработаны) для других регионов, где отмечены явления или процессы абортивной модернизации. Перечислю эти задачи.

1. Разработка теории смыслопорождающего действия (производства таких действий, в которых смысл, полагаемый действующим, является не только схемой его последующего понимания, но и правилами предполагаемого взаимодействия с партнером). Она может быть реализована как типологическое описание многообразия механизмов смыслогенерации, сложных структур социального действия, синтезирующего более простые регулятивные структуры (понимания того, как это делает сам индивид в форме субъективной инновации или другого действия, соединяющего образцы социальных действий, данных разными институтами или разными пластами культуры). Если эта проблема будет решена как социологическая, т. е. будут найдены средства социологического анализа сложных культурных форм в современ-

ном обществе (а это значит — наиболее рафинированных и интимных сфер человеческого существования), то мы получим возможность для анализа уже высокодифференцированных институциональных и неинституциональных структур и форм взаимодействия, их объяснения и развития.

2. Теория сложных (синтетических) форм социального взаимодействия, смыслопорождающих механизмов по существу своему представляет решение **проблемы рациональности и ее типов, культурных обоснований синтеза идей и интересов**. Рациональность не сводится к вопросам нормативности какой-то одной схемы рационального действия, а представляет собой условия или возможности синтеза идей и интересов, соответственно, механизмов или структур соединения гетерогенности исторической и социальной, социальной и культурной регуляции и ее воспроизводства. Задача заключается в том, чтобы прояснить сами обстоятельства, в которых происходит этот синтез, правил синтезирования слоев и типов записей культурных значений, интересов и идей, социальных (групповых, институциональных) норм (прагматики) и символического репертуара.

3. Взаимодействие социологии и других дисциплин гуманитарного круга, в первую очередь истории. Последняя дает иную плоскость для последующей социологической работы — генетический аспект социальных явлений и процессов, происхождение нынешних форм социального взаимодействия, без учета и понимания которых невозможны понимание и теоретическое объяснение «причинности» или ее функциональных эквивалентов в системах интерпретации. Сегодня в общую кучу под именем «культурология» сваливаются проблемы, требующие усилия целого ряда наук: здесь и история идей или понятий, концепции визуальности, экспрессивности, теория символического, священного и мирского и проч., а также те вопросы, которыми занята практическая философия — концепции очевидности, систематического истолкования/рационализации ценностей, зла, теодицеи, смерти и проч.

4. Перспектива развития самой социологии открывается лишь с возможностями использования ресурсов и достижений смежных дисциплин. А для этого необходим не просто *аппарат перевода аналитических и концептуальных языков этих наук на языки социологии*, а выработка соответствующих аналогов работы *внутри самой* социологии (аналогичную работу пытался проделать Т. Парсонс, а еще ранее — М. Вебер; в меньшем

объеме соответствующие усилия предпринимали и другие основатели социологии и не потому, что им хотелось разработать генеральную теорию социологии, а потому, что этого требовала сама практика эмпирической работы).

Такая работа предполагает расширение представлений о типах действия, природе символов, типах антропологии, формах консолидации и более сложных, в смысле более противоречивых, процессах, чем это имеем место сейчас.

Сегодня развитие социологии блокируется ее государственно-академическим статусом. Дело не в каких-то внешних запретах и ограничениях, а во внутренних механизмах саморегуляции исследователей, парализующих автономное развитие дисциплины, т. е. отражение в теоретических задачах тех проблем, которыми озабочено общество. Дефицит теоретических средств объяснения заставляет молодых ученых обращаться к ресурсам западной социологии, которая, в свою очередь, оказывается все больше и больше в ситуации утраты к ней общественного интереса, поскольку ресурсы *этой* социологии заканчиваются. Она постепенно превращается в академическую резер-

вацию, зону интеллектуального застоя и консерватизма. Напротив, именно в России, как и в других странах догоняющего развития, особенно там, где барьеры на пути модернизации ведут к появлению обходных, параллельных или возвратных процессов, а значит, возникают совершенно новые социальные образования (шунты, заболачивание, тупики человеческого развития и т. п.), там возможности для теоретической работы социолога предельно благоприятны и широки. Поэтому вопрос об деэтизации социальной науки — это самый важный вопрос для будущего российской социологии. Не хотелось бы, чтобы ценностный нигилизм стерилизовал мотивационный потенциал российских социологов. В конце концов (и в этом, как оказалось, был конец экзистенциализма), ничего особенного в «пограничных ситуациях» найти не удалось: установка на раскрытие негативной «сущности» человека произвела типологическое множество ситуаций человеческой ничтожности. Вопрос, однако, заключается в другом: «культурные ли мы люди», «одарены ли способностью и волей сознательно относиться к миру и наделять его смыслом»...

АВТОРЫ НОМЕРА

АШКИНАЗИ Леонид Александрович (МИЭМ)

ВЕКШТЕЙН Марина Борисовна, независимый исследователь

ГУДКОВ Лев Дмитриевич (Левада-Центр)

ЗВЕРЕВА Галина Ивановна (РГГУ)

КОСОВА Лариса Борисовна (Независимый институт социальной политики)

КРАСИЛЬНИКОВА Марина Дмитриевна (Левада-Центр)

ЛАПИНА-КРАТАСЮК Екатерина Георгиевна (РГГУ)

МИЦЕК Сергей Александрович (Гуманитарный университет, г. Екатеринбург)

РИМСКИЙ Владимир Львович (Фонд ИНДЕМ)

РФУЗ Ричард (Центр изучения публичной политики, Университет Абердина)

САТАРОВ Георгий Александрович (Фонд ИНДЕМ)